

ЛИЧНЫЙ ДНЕВНИК: САМОСОЗНАНИЕ ЖАНРА

Чувство «подотчетности» — основа философии жанра, который было бы перспективно рассмотреть не в литературном, а в поведенческом аспекте. Отказ от специализированного взгляда на источники личного происхождения давно воспринимается как актуальная академическая задача. Заинтересованность в частной информации при работе с ними зачастую игнорирует отношение извлекаемого материала к структурному целому — к тому, какое место запечатленная фактография занимает в пределах авторского сознания. В полной мере это относится к личным дневникам. В системе мемуарных жанров они занимают особое положение, что отражается на принципах текстовой организации жизненного материала. Следование за течением культурной повседневности определяет «самосознание»

жанра. Не ставя перед собой особых программных целей, не претендуя на окончательность каких-либо оценок, дневник оказывается интересен именно в той мере, в какой доносит до нас «субъективную правду» истории.

L. Letyagin

A PERSONAL DIARY: THE SELF-AWARENESS OF GENRE

The Feeling of «self-responsibility» is the node's basis of genre philosophy which should be investigated not in the literary but in the behavioral aspect. The specialized approach to sources of a personal origin frequently ignores the attitude of a «particular» material to the structural whole, to the place it occupies a set of the embodied facts in author's Weltanschauung. It concerns also personal diaries. In system of memoirs genres they hold a specific position that is shown in the principles of text organization of the material of life. Following the stream of daily cultural impressions determines the «self-awareness» of this genre. Without putting forward program goals, without putting forward finality of estimations, the personal diary can be interesting to the extent to which it brings to us «the subjective truth» of history.

Дневникам как мемуарной форме и явлению «литературной домашности» (Б. Эйхенбаум) посвящены обстоятельные словарные статьи и определения В. А. Дынник-Соколовой, С. С. Дмитриева, М. О. Чудаковой, И. Я. Биск, Л. Я. Гинзбург, В. Н. Шикина, Е. И. Жерихиной. Уточнению их жанровой природы способствовали частные исследования и публикация наиболее известных памятников — дневников А. И. Тургенева, А. А. Олениной, В. С. Аксаковой, А. Ф. Тютчевой, А. В. Никитенко, Д. А. Милютина, П. А. Валугева. С точки зрения научного комментирования, счастливое исключение представляли личные записи писателей, которые рассматривались по преимуществу как их «творческая лаборатория», а также дневники русских художников и деятелей театра — М. Добужинского, П. Филонова, А. Бенуа, Ф. Шаляпина.

Сформировать системный взгляд на отечественную дневниковую прозу ставили своей задачей некоторые издательские проекты, в том числе еще продолжающиеся («Русские дневники», «Дневники и воспоминания петербургских ученых», «Дневники, мемуары, свидетельства»...).

Однако до настоящего времени наименее изученными оказываются «фоновые явления» жанра. Потребность ввести в научный обиход неучтенные источники мотивирована многими академическими задачами, и не только историографического плана. Обращение к дневникам как наиболее личному, *интимному* модусу запечатленной памяти позволяет самым непосредственным образом связать структуры текста и структуры индивидуального сознания. В этом убеждает феноменологический взгляд на эстетику исповедального слова, представленный работами В. Н. Топорова, К. С. Пигрова, М. С. Уварова. Поведенческий ракурс рассмотрения вопроса не ставит целью заявить какие-либо «частные» интересы. Принципиально значимой представляется мысль проф. К. Пигрова, что не только человек ведет дневник, но и дневник «ведет» человека... Как факт живой самостоятельной традиции жанр интересен в широком контексте побудительных мотивов, укорененных в системе бытовых привычек и культурных практик.

Вряд ли Степан Петрович Жихарев — автор одного из наиболее известных отечественных памятников в дневниковой форме — предполагал, сколь «литера-

турно» со стороны выглядело описанное им действие: «*Вот последнее мое донесение и последние сплетни из Москвы. Не хотелось и пера брать в руки, а пришло время ложиться спать, так и потянуло к конторке написать <...> несколько строк...*»¹. Полноценное завершение дня для автора дневника оказывалось невыносимым без привычной мнемонической операции. Индивидуальный порыв и минутное настроение выдают в рассматриваемом случае определенный *строй жизни*, по отношению к которому автор не мог быть свободен. Столь же зависимыми становятся действия героя «Пиковой дамы», когда под непосредственным впечатлением момента, после которого он «долго не мог опомниться, <...> *Германн возвратился в свою комнату, зажег свечку и записал свое видение*».

Стили поведения героев — автобиографического и литературного — не просто аналогичны. Отражая одни и те же реалии, они вступают в сложные отношения, взаимно определяющие друг друга. Сопоставимость примеров наглядным образом иллюстрирует не раз отмечавшуюся «запутанную ситуацию», когда «трудно иногда бывает решить — воссоздает ли литература то или иное бытовое явление, или наоборот — это бытовое явление есть проникновение в жизнь литературных шаблонов»². При несомненной индивидуальности своих установок оба автора оказываются чуткими и последовательными носителями определенных навыков той эпохи, когда записывать факты случившегося «для себя» становится типичной чертой досугового поведения — формой *культурной потребности*.

Для первой трети XIX века внимание к дневниковой форме показательно. В литературном контексте эпохи романтизма она получает самостоятельный статус, чему в немалой степени способствует популярность мемуарных жанров

в целом — их проникновение во все сферы жизни. Резонность и необходимость ведения дневников оказывается мотивирована целой системой аргументов, что отражает «мена мыслями» двух известных в дальнейшем Любомиров, а затем общественных деятелей славянофильской ориентации — Александра Кошелева и Ивана Киреевского. «...Я привык рассматривать происшествия и замечать их последствия, — пишет А. И. Кошелев. — Слог же мой, кажется, ежедневно более и более образовывается, и мысли мои объясняются. *Избрав себе предводителем Робертсона, я смело иду своим путем...*»³ (корреспондентам в это время было по 16 лет). Навык ведения дневника, как и зависимость частных оценок от литературных образцов, «прорисовывали» структуру юношеского мировоззрения, определяя формальные критерии становления личности. Период нравственного взросления не исключал обычных «ученических штудий» — школы ведения дневников. «Он заставил меня, — вспоминает В. С. Печерин «оригинальную методу» своего домашнего учителя, — писать на немецком языке дневник, т. е. записывать маленькие события дня и мои собственные о них мысли, а потом он это поправлял»⁴. Смысл учительских поправок был внушен читательскими пристрастиями, но это было следование духу, а не букве, ибо исключало «фразы и амплификацию». Это была фактография без украшательства, избегавшая поэтических фигураций, литературных «ухищрений». Возможность последовательной реализации дидактических установок, ориентированных на принятую в культуре систему образцов или клише, становится показательной исторической приметой, как и формируемый навык самонаблюдения, который выступает критерием готовности молодого человека к выходу в самостоятельную жизнь.

Широта бытования записных книжек, памятных тетрадей, карманных журналов, активность их включения в систему поведенческих практик — показатель не постоянный и отличает далеко не каждый исторический период. Склонность к саморефлексии выступает не столько индивидуальной характеристикой человека, сколько чертой, присущей культурному поколению. Именно поэтому дневник как форма бытового самонаблюдения позволяет отслеживать «изгибы психологии»⁵, изменение тона философских пристрастий, связывая в единое целое событийную основу повседневности и характер умонастроений. В этом случае дневник можно рассматривать как изоморфное явление — как исторический источник, не выходящий из сферы и стилистики бытовых отношений и заявляющий внутри эпохи свое жанровотипологическое соответствие.

Представление о дневнике (в его «классическом» понимании) оказывается связано с реализацией комплекса рефлексивных установок, приобретающих форму ежедневного самоотчета. Этому условию нередко могут отвечать и заметки нерегулярные, окказиональные, фиксирующие фон повседневности «от случая к случаю», которые только на первый взгляд вступают в противоречие с жанровой спецификой «поденных записей». Дневник — не дайджест и не хронологическая сводка происшествий. Как опыт непосредственного отражения события в качестве достойного памяти примера страницы дневника формируют исторический реестр *достопримечательного, достопамятного* жизненного материала. Обращение к нему исследователя открывает возможность восстановить *внутренние* точки зрения, субъективную «прелесть» которых трудно переоценить.

Заинтересованность в частной информации при работе с источниками лично-

го происхождения зачастую игнорирует отношение «извлекаемого» материала к структурному целому — к тому, какое место запечатленная фактография занимает в пределах авторского сознания. Дневник, который в сложившейся системе исследовательских подходов предстает в подчиненном качестве «источника сведений» о быте и нравах общества, интересен прежде всего *способом сведёния* жизненных событий — их текстовой концентрации.

Синоптический взгляд на действительность определяет высокую степень зависимости жанра от «культурной мерцательности» — того, что А. Герцен называет «хаосом ежедневных впечатлений». Литературные подстрочники повседневности являют собою систему выверенных ориентиров. Дневник — жанр маргинальный. Существовая «на полях» жизненного пространства, он непосредственно от него зависим, однако устанавливает собственные границы, отделяющие основные и неосновные явления поведенческого фона. В этом смысле ежедневные пометки «для себя» обладают некими непреходящими культурными характеристиками, исток которых можно найти уже в классической античности, в частности, в тех нравственных задачах, которые намечал в «Золотых стихах» Пифагор:

*Да не сомкнет тихий сон твои отягченные
вежды,*

*Раньше чем трижды не вспомнишь дневные
свои ты поступки.*

Как беспристрастный судья их разбери, вопрошая:

*«Доброго что совершил я? Из должного что
не исполнил?»*

*Так проверяй по порядку все, что с утра и до
ночи*

Сделал ты в день.

(Совершенствование).

Для понимания специфики жанра значимо отметить «перепоручение» ему автором самостоятельных и вполне определенных культурных функций. Дневник

актуализирует, а иногда инициирует различные способы фиксации ускользающих реалий. Обычно бумаге передоверяется то, что легко замещается новыми жизненными впечатлениями. В английском языке для обозначения «текущей информации» существует специальное понятие «nine days' wonder» (букв. удивительное на девять дней, кратковременная сенсация). Сиюминутное, мимолетное, как правило, вытесняется очередной «злостью дня». Все записанное на бумаге в этом случае может быть как бы «вычеркнутым» из памяти. «Ce que je mets sur papier, je remets de ma mémoire et par conséquence je l'oublie», — напоминает в своих «Marginalia» Эдгар По мысль Б. де Сен-Пьера, добавляя и комментируя от себя: «действительно, если вы хотите немедленно что-нибудь забыть, запишите это для памяти»⁶. Именно поэтому содержательный потенциал дневника чаще всего оказывается внеположен тому, что, по точному определению А. Ахматовой, «окаменело в памяти, что исчезнет только со мною вместе»⁷.

Мнемонические действия имеют широкое бытовое распространение. Обычный жест — «завязать узелок на память» (как и его метафорический эквивалент «зарубить на носу»), сохраняющаяся в современном обиходе привычка поставить крестик на тыльной стороне руки (чтобы не стерся и был на виду для памяти) или характерное для дворянской культуры XVIII столетия напоминание — «положить бумажку в табакерку» — выполняли одну и ту же функцию, ориентированную на перспективное разворачивание сюжетной информации.

«Минеральная память» (У. Эко), ослабляя действенную силу системных навыков сознания⁸, становится механизмом формирования социальной истории вещей. Внешняя подсказка выступает лишь условием актуализации памяти самой предметной формы. Данная ситуация

была прокомментирована Ю. М. Лотманом: «Представим себе два типа сообщения: одно — записка, другое — платок с узелком, завязанным на память. Оба рассчитаны на прочтение. Однако природа “чтения” в каждом случае будет глубоко своеобразна. В первом случае сообщение будет заключено в самом тексте и полностью может быть из него извлечено. Во втором — “текст” играет лишь мнемоническую функцию. Он должен напомнить о том, что вспоминающий знает и без него. Извлечь сообщение из текста в этом случае невозможно»⁹. Это тот вариант обращения к личным записям, когда «извне получается лишь определенная часть информации, которая играет роль возбудителя, вызывающего возрастание информации внутри сознания получателя»¹⁰. Жанр дневника может соответствовать обеим отмеченным установкам, во взаимном «схождении» которых определяется парадигмальное единство вероятных авторских позиций.

Однако определенная информация всегда присутствует и в самом способе передачи информации. Ситуативная идиома, рассматриваемая как временной код, в оценочном плане может проявлять не только свою внутреннюю форму, но и соотносимый с нею исторический контекст. Это, собственно, и отличает культуру «в послании» от «культуры до восребования» — формы, естественные для восприятия, и формы, интерпретация которых требует определенных усилий «преодоления» материала. Основным в ситуации текстовой атрибуции дневниковых записей становится движение от *артефактов* к *артеактам* (термин В. Л. Рабиновича), когда обнаруживается актуальный план высказывания по отношению к фону иных нестатусных явлений. Методологически значимой проблемой оказывается возможность определения ценностного баланса, точнее, — той *диспропорции*, которую представля-

ют собою событийная наличность истории и ее отражение, актуализированное пометками в дневнике. С точки зрения теории источниковедения, это вопрос о *desideratum* (лат.), о «желаемом» содержании, о том, чего в историческом документе, на взгляд исследователя, всегда «не достает».

В целом ряде случаев высокая степень герметичности культурного текста только повышает степень его информативности. Такой опыт отношения к фактам и структурирования ежедневной хроники представляет «Камер-фурьерский журнал» Владислава Ходасевича, проанализированный О. Р. Демидовой¹¹. Гегель заметил однажды, что если в голове нет идеи, то глаза не видят фактов. Латентное присутствие ценностей, представленных своим «нулевым содержанием», самым непосредственным образом связывается с «культурой отгадки». Приведение в действие «уснувших» механизмов культуры, постижение их внутренней логики оказывается возможным только вокруг конкретных ситуативных положений. Исторический материал всегда сохраняет интригующий план своего прочтения. «Пусть драгоценность разобьется, осколки уцелеют», — гласит старая китайская поговорка. Возможно, именно поэтому Ю. М. Лотман¹² в нескольких своих работах настойчиво возвращался к образу Е. Баратынского:

...храм упал,
А руин его потомок
Языка не разгадал...

Насколько осколки прошлого могут быть изоморфны целому? Что остается в камнях, когда уходит идея цельности, законченности, завершенности? «Пространство культуры, — пишет Ю. Лотман, — может быть определено как пространство некоторой общей памяти, то есть пространство, в пределах которого некоторые общие тексты могут сохраняться и быть актуализированы. При этом актуализация их совершается в пределах неко-

торого смыслового инварианта, позволяющего говорить, что текст в контексте новой эпохи сохраняет, при всей вариантности истолкований, идентичность самому себе»¹³. Языковое поведение обостряет переживание основного качества культуры — позволяет воспринимать ее не как *результат* (совокупность, сумму, объем, итог), а как *процесс*. «Хорош стылый свет обобщения, но лишь после того, как при солнечном свете заботливо собраны все мелочи», — отмечает Набоков в статье «О хороших читателях и хороших писателях»¹⁴. Семантическая реабилитация культурных идиом определяется наличием адекватного конструктивного принципа. Об этом писал М. М. Бахтин, утверждая, что «у каждого смысла будет свой праздник возрождения»¹⁵. Проблемным остается вопрос, каким становится содержание дневника (или приравниваемых к нему исторических источников) вне пределов личного опыта и индивидуальной памяти. Именно поэтому следовало бы указать на общие принципы, позволяющие выделить специфические особенности дневника по отношению к иным мемуарным текстам.

Время выступает необходимой координатой жизненного мира, в котором человек обретает право на самостоятельность своей позиции. В этом случае сам процесс письма наделяется особым экзистенциальным смыслом. Обостренность восприятия акта дневниковой записи очень точно передает понятие «времяточие» (неприжившийся неологизм А. Н. Радищева¹⁶). Ретроспективно восстанавливаемая автором динамика дня ситуативно подводит его к моменту письма. Здесь можно ставить точку. Именно здесь обозначается индивидуальная граница между настоящим и прошлым. Всякое эстетически переживаемое действие, «за скрепою руки» (П. Вяземский), заявляет о себе *мерой необратимости*.

Запись в дневнике — действие на грани, но не за гранью возможного. В ситуации поправимости / непоправимости длящегося момента определяется прогностика жанра — от индивидуальной оценки итогов дня к замыслу и к реализуемой в дальнейшем системе поведенческих установок. Ю. Хабермас говорил, что «современность всегда не завершена»¹⁷, это время, на которое можно активно воздействовать. Дар «опережающего отражения» актуализирует авторскую задачу — уловить точки сравнения, когда биография становится именно такой, а не иной, то есть «твоей биографией». Заглядывание за временную грань настоящего в бытовом сознании не случайно связывается с пред-восхищением. Именно в такие моменты приходит блоковское понимание, что «жить на свете и страшно и прекрасно».

Дневник — не просто мотивированная попытка отразить течение жизни в ее подробностях. Избирательность — основа самоопределения жанра. Отбор фактов — условие построения целостного образа дня в пределах конкретного текста. Его показательными особенностями выступают как желательная степень полноты отражения действительности, так и сам ракурс видения/воспроизведения реальности — способ запечатления подробностей. Это «*правда* того времени так, как она тогда понималась, без искусственной перспективы, которую дает даль, без охлаждения временем, без исправленного освещения...»¹⁸. Размышления А. Герцена о жанровой специфике записей в его собственной «записной книге» особенно показательны на страницах «Былого и дум» — выверенного в деталях идейного документа.

Предлагая фиксацию значимого события, автор дневника заявляет о ценности непосредственного субъективного взгляда на него. «*Что*» в этом случае не выигрывает в содержательном смысле по

отношению к «*как*» (данный тезис сопоставим с утверждением Карла Менингера: «то, как вы относитесь к фактам, важнее самих фактов»).

Свое понимание истории и человека в ней предложит П. Вяземский: «Мы все держимся крупных чисел, крупных событий, крупных личностей, дробь жизни мы откидываем: надобно и их принимать в расчет»¹⁹. Эта мысль, подводившая итог авторским размышлениям в «Старой записной книжке», имела форму «практического ответа» на актуальный вопрос, поставленный много ранее в одном из наиболее ярких романтических манифестов и уточненный затем отечественным тезисом об отношении «истории целого народа» и «души человеческой»:

Всегда «en grand» история берет
События, детали опуская...

(Байрон. Дон Жуан. Песнь VIII. 3).

Культурная функция дневника заключена в обостренном внимании к тем «жизненным обмолвкам», которые в меру своей незначительности вряд ли привлекли бы позднее взгляд мемуариста. Однако именно сохраненные подробности в большом времени нередко выполняют функцию конструктивного элемента — «соединяющей» детали. «Светящаяся пыль истории» обозначает новый уровень *текстовой свершенности*, когда событие находит *свое* слово, что позволяет сделать некоторые определенные выводы, каким образом «человеческий документ» (Ю. Манн), «литература факта» заявляют свои права на видение истории.

Всякое социальное действие, выделяемое из потока, обнаруживает свою самодостаточность, что предполагает в нем наличие вполне обоснованных (по крайней мере, в авторской концепции) условий выделения. Вычлененность действия из течения времени и детерминированность моментом — вопрос, пред-

ставляющий особый аналитический интерес.

«Модусом примирения» исторической и текстовой реальности становятся принципы авторского отбора. Жанры, ориентированные на фиксацию непосредственных впечатлений, при всем отличии и своеобразии литературно-бытовых функций связаны между собою *методом частных наблюдений*, когда оказывается выговоренным «ежеминутное прошлое» — «безмолвный говор мелочей» (Б. Пастернак).

Из всех хроноориентированных жанров именно дневник устанавливает наиболее короткие отношения между эстетическим переживанием и рефлексией — чувством-состоянием и чувством-отношением. Автор дневника интересен и в качестве беспристрастного хроникера, и в качестве заинтересованного участника, сохраняющего самое непосредственное отношение к «длящемуся настоящему». Его взгляд на *событийную наличность* обозначает минимальность дистанции по отношению к ней, что выступает условием предельной эмоциональной сосредоточенности на предмете. Это потребность осмыслить случившееся состояние как «только что пережитое», в его естественном отношении к моменту записи. Оценочный взгляд оказывается сфокусирован на неостраненном переживании — таком, каким в человеческом измерении оно было представлено, что предполагает осознание ценностной зависимости ближайших по времени хронологических планов.

Близкой (а в ряде случаев аналогичной) оказывается культурная функция эпистолярных форм. «Письма, — отмечает А. Герцен, — больше, чем воспоминанья, на них запеклась кровь событий, это — само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное»²⁰. Именно поэтому дневник и письма иногда (а в отечественной культурной традиции доста-

точно часто) вступают в ситуацию функциональной взаимозаменяемости. «Наша переписка — настоящий журнал», — оценит А. Оленина свой опыт эпистолярного общения²¹. Схожие авторские установки отличали «Дневник для отдохновения» А. П. Керн, что подчеркивалось, в частности, посвящением конкретному адресату. Активное присвоение дневником эпистолярных жанровых характеристик позволяет сделать вывод, что в многовековой истории своего культурного бытования он далеко не всегда рассматривался как «форма интеллектуального уединения». Не изменяя своим функциональным качествам, записи «для себя» могли стать самоотчетом «для другого». «Писать к тебе обратилось мне в привычку», — скажет С. П. Жихарев²², рассматривая принятую и реализованную им систему односторонней коммуникации как значимое личное обязательство.

Опыт сравнительного самонаблюдения — главный источник изменяющегося отношения человека к окружающей его социальной действительности. Американский психолог Дарил Дж. Бем предложил теорию самовосприятия, согласно которой познание внутренних состояний происходит через фиксацию регулярностей поведения и внешних обстоятельств. По Д. Бему, следует различать «искусственное» поведение, которое определяется внешними преимущественными факторами, и поведение «естественное», которое не зависит от внешних условий и может свидетельствовать о внутренних состояниях человека. Последнему условию в полной мере соответствует дневниковая форма.

«Пределы откровенности» — «естественный» критерий самосознания как отдельного человека, так и самой культуры. В этом отношении высказывание заинтересованной точки зрения на события — всегда акт поступающего сознания. «Я рожден для писем: нигде так не вы-

ливаюсь, как в них», — отметит Пушкин (письмо В. Ф. Вяземской от 3 августа 1826 года). Важно оценить действительную биографическую ценность данного признания, сделанного в один из наиболее «переходных» моментов жизни поэта. Не только потому, что «полнота выговаривания» не терпит умолчаний. Письма, как и дневник, способны выступать моделью опережающего самораскрытия, возможностью наиболее последовательно выразить степень духовной свободы, личной оппозиции происходящему. Именно в этом случае дневник воспринимается как *своя форма* («форма маленьких записей в дневник стала больше моей формой, чем всякая другая», — скажет М. М. Пришвин). Не в меру потаенности, а в меру «обнаженности» личного начала рассматриваемые жанры способны приобретать публицистические качества (таков «Дневник писателя» Ф. Достоевского или письма Льва Толстого, адресованные им Николаю II, и — шире — жанр открытых писем).

Однако прежде всего дневниковая запись остается «письмом самому себе». Она открывает для автора редкую в иных случаях перспективу сравнительных характеристик, когда под впечатлением новых событий изменяется ракурс видения и понимания прошлого. «Вот прошел год, что я продолжаю почти непрерывно мой дневник — единственное занятие, которое я называю дельным, — отмечает А. Вульф. — В 32 листах, мною написанных, мало любопытного: они заключают в себе одни описания нужд и неприятностей, перенесенных мною, и впоследствии будут для меня замечательны, как живое изображение постепенного разочарования. Перечитывая их через несколько лет, буду я себя предохранять от обольщений самолюбия, от неумеренных надежд...»²³. «Большие ожидания» и «утраченные иллюзии» — устойчивые точки сравнения дневниковых текстов.

Показательны в этом плане вводные и заключительные строки Наталии Герцен в «белой книге», подаренной ею мужу: «В 1842 я желала, чтоб все страницы твоего дневника были светлы и безмятежны; прошло три года с тех пор, и, оглянувшись назад, я не жалею, что желание мое не исполнилось, — и наслаждение и страдание необходимо для полной жизни...»²⁴.

Культурное назначение дневника, рассматриваемого с точки зрения *философии жанра*, раскрывается в возможности многократного авторского обращения к отраженному в нем жизненному материалу. Хронологическое несовпадение «автора» и «героя» — пусть предельно минимальное — предполагает «расширение пределов» достоверности. «Многое мне напомнила допотопная тетрадка. Как живо я перенесся в былое — как будто и не прошло стольких лет»²⁵, — поделится И. Пущин, перелистав на поселении в Сибири свой старый лицейский альбом. Именно поэтому функции жанра не ограничиваются «живым напоминанием» о прошлом. Дневниковые записи подчеркивают интенциональную зависимость ближайших и удаленных временных планов, позволяют связать *данность* и *за-данность* на уровне мало заметных сдвигов индивидуального сознания. Однонаправленная линейность времени в этом случае дополняется опытом сравнительных прочтений, и чем большей становится дистанция, разделяющая акт письма и акт чтения, тем более серьезным и основательным становится повод для авторской рефлексии.

«Я сегодняшний и я недавний — это уже двое» (*Moi aujourd'hui et moi tantôt, sommes bien deux*), — заметил однажды Монтень (Опыты. II. 1). В этом смысле дневник как форма автокоммуникации отвечает особому жанровому условию, основным критерием которого становится *совпадение адресата и адресанта*.

Данное качество дневника очень точно подметит Степан Жихарев: «Если нам так приятно встречать давно знакомых людей, то еще приятнее некогда встретиться с самим собою в прежней мысли, в прежнем чувстве и в прежнем происшествии...»²⁶.

Неизбежное изменение статуса информации — «смещение смыслового контекста» микроистории — предопределяет перспективное несовпадение оценочных позиций по отношению к одному и тому же жизненному материалу. В определенном смысле дневник — форма, позволяющая преодолеть стереотипность самооценок. Чувство эстетической дистанции, возникающее между дневниковыми записями, открывает возможность как повторной интерпретации действительности, так и нового отношения к ней.

Процедуры мнемонических операций, предполагающие единство «сворачивания» и потенциального «разворачивания» смыслов, — ключ к пониманию культурной непрерывности. Вне зависимости от масштаба зафиксированная фактография интересна своим человеческим содержанием. «Памятник момента» (формула Д. Г. Россетти) акцентирует ускользающие экзистенциальные проекции, обозначая их событийную глубину. Именно поэтому эволюция форм отражения индивидуальных образов времени позволяет в целом ряде случаев отказаться от «грамматического» истолкования дневникового жанра.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) в книге воспоминаний отметит примечательный факт биографии духовно близкого ему человека: «Костя Родионов пережил в России все годы и бури революции <...>. В пятидесятые годы чрез сестру он прислал мне старую славянскую псалтырь. В ее страницы были вложены кленовые осенние листья, и некоторые стихи псалмов были слегка подчеркнуты. По этим немногим

подчеркнутым словам я прочел о жизненном пути человека и о его вере...»²⁷. Красные листья в качестве закладок Книги Псалмов царя Давида оказываются бытовой реминисценцией хорошо известных ахматовских строк:

*...А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песне Песней.*

Вряд ли данный пример достаточно интерпретировать как обычный случай домашней библиомании²⁸. В нем обнаруживается потребность (инициированная, быть может, бессознательными интуициями) вписать происшедшее в *иной* ценностный масштаб. Близкое по функции культурное назначение выполняли «Автобиографические заметки» графа Аракчеева на «прокладных» листах принадлежавшего ему Евангелия²⁹ или записи Николая II, сделанные им на сохранившемся экземпляре Св. Писания в трагические мартовские дни 1917 года. (Эти маргиналии возникают «параллельно» с цитировавшимися не раз строками личного дневника императора, что подчеркивает их особый жанровый статус).

Всякий мемориально отмеченный факт содержит в себе момент потенциального узнавания, включения «непоправимого прошлого» в новый событийный контекст. Именно этим значимы дневниковые оценки, исходящие из авторского понимания «неполноты сказанного» как источника последующего обобщения.

Главное для автора достоинство дневника заключается в открывающейся возможности сравнительных оценок. Ежедневные записи, имеющие последовательный характер, при каждом повторном к ним обращении неизбежно перестраиваются в «экзистенциальную вертикаль» многомерных одномоментных пересечений. Ситуативная оценка события и его процессуальная оценка предполагают качественное различие критериев своей атрибуции, однако их совмещение становится условием и способом выявления действительного исторического

содержания. Хронологически удаленные эпизоды личной жизни «накладываются» друг на друга, формируя в пределах индивидуальной биографии эффект палимпсеста. Синхронизированные в новом прочтении «фрагменты действительности» (В. Библер) вступают в диалоговые отношения, определяющие ценностное взаимодействие временных уровней.

Ускользящие в повседневности значения — не значит ушедшие навсегда. Передоверенные бумаге смыслы рано или поздно выходят из своего «забытия» не столько как прелесть «бережно и любовно сбереженных сплетен», но как «переиздание навек забытых минут» (А. Ахматова).

Культурной функцией дневника оказывается обогащение отстраненно-объективных оценок прочувствованным взглядом на действительно бывшее. Переживание и с т о р и ч н о с т и текущего момента определяет смысл челове-

ского присутствия во времени. Эпизоды *частной* жизни оказываются интересны в их взаимосвязи, взаимообусловленности, взаимоопределяемости. Только при этом условии «мелькание жизни», «милолетное», «мелочи из запаса памяти» поддаются своей логической упорядоченности, а жизненный путь отличается устойчивостью и выверенностью биографической траектории.

Дневник сохраняет и доносит ценность «преходящих моментов», встраивая их в ритмически и семантически упорядоченную зависимость, «точки сравнения» в которой оказываются соотношены с пульсацией человеческой идентичности.

Как самый простой и доступный способ копить и «аккумулировать» непосредственные впечатления, дневник подчеркивает значимость «случая» по отношению к *большому времени* биографии, к специфике «протяженного бытия».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Жихарев С. П. Записки современника. Воспоминания старого театрала. Л., 1989. Т. I. С. 242. Ср. аналогичную сцену в историческом романе В. Ходасевича: «...Державин, вернувшись домой, прошел в кабинет. <...> Плотней прикрыл дверь, подошел к конторке, провел рукой по глазам, взял перо...» (Ходасевич В. Ф. Державин. М., 1988. С. 208).

² Томашевский Б. В. Литература и биография // Книга и революция. 1923. № 4/28. С. 7.

³ Кошелев А. И. Письмо И. В. Киреевскому // РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86; *курсив мой* — Л. Л. Наиболее вероятным читательским ориентиром А. Кошелева была книга «Характеры и деяния мужей, прославившихся в американской истории. Сочинение г. Робертсона / Перев. с англ. Н. С...ль». (СПб., 1820) — соответствующее тематически и доступное по времени российское издание известного шотландского историка.

⁴ Русское общество 30-х годов XIX в. М., 1989. С. 154.

⁵ Ср. замечание Ю. К. Олеси: «современные прозаические вещи могут иметь соответствующую современной психике ценность только тогда, когда они написаны в один присест» (Олеша Ю. К. Зависть. Ни дня без строчки. Рассказы. М., 1989. С. 112).

⁶ По Э.-А. Marginalia // Эстетика американского романтизма. М., 1977. С. 153. Ср. размышления об этом в «Афоризмах эстетики» С. Кьеркегора: «Если кому следовало бы вести дневник, так это мне, особенно для памяти. Время спустя, я часто забываю, что побудило меня к тому или иному поступку — и не только тогда, когда речь идет о пустяках, но даже в самых серьезных случаях жизни» (Кьеркегор С. Дневник обольстителя. СПб., 2000. С. 218).

⁷ Ахматова А. А. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. II. С. 281.

⁸ Эко У. От Интернета к Гуттенбергу / Перев. с итал. Е. Костюкович // Новое литературное обозрение. 1998. № 4/32. С. 5–14. См. интерпретацию основного положения У. Эко: Уваров М. С. Виртуальное пространство культуры: Материалы научной конференции 11–13 апреля 2000 г. СПб., 2000. С. 149–154.

⁹ Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1993. Т. I. С. 244.

¹⁰ Там же. С. 245.

¹¹ *Ходасевич В. Ф.* Камер-фурьерский журнал / [Вст. ст., подг. текста, указ. О. Р. Демидовой]. М., 2002.

¹² «Вырванные из археологических контекстов отдельные археологические находки <...> первоначально даны нам как тексты на н и к а к о м языке. Нам надо знать, что это тексты, но код для их прочтения предстоит нам сформулировать самим» (*Лотман Ю. М.* Там же. Т. III. С. 472–473; разрядка в цитате — *Ю. М. Лотмана*).

¹³ *Лотман Ю. М.* Там же. Т. I. С. 200.

¹⁴ *Набоков В.* Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 23.

¹⁵ «В любой момент развития диалога существуют огромные, неограниченные массы забытых смыслов, но в определенные моменты дальнейшего развития диалога, по ходу его, они снова вспомнятся и оживут в обновленном (в новом контексте) виде» (*Бахтин М. М.* Собр. соч.: В 7 т. М., 2002. Т. VI. С. 434–435). В исследовательском плане данное положение М. М. Бахтина может рассматриваться как концептуально значимое основание метода историко-культурной реконструкции: «При анализе трагедий Шекспира мы <...> наблюдаем последовательное превращение всей воздействующей на героев действительности в смысловой контекст их поступков, мыслей и переживаний...» (*Бахтин М. М.* Там же. С. 427).

¹⁶ Путешествие из Петербурга в Москву. Гл. «Хотиллов».

¹⁷ Вопросы философии. 1992. № 4. С. 40–52.

¹⁸ *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1975. Т. V. С. 172, курсив А. Герцена.

¹⁹ *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. М., 2000. С. 262. К. С. Пигров обращает внимание на близкое по смыслу замечание З. Гиппиус: «Одно, что имеет смысл записывать, — мелочи. Крупное запишут без нас» (*Гиппиус З. Н.* Петербургские дневники. 1914–1919. NY.; М., 1990. С. 24).

²⁰ *Герцен А. И.* Указ. изд. Т. IV. С. 282. «Здесь жизнь нетронутая и нетленная, так сказать, еще теплится в остывших чернилах», — скажет П. Вяземский о письмах Карамзина (*Вяземский П. А.* Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 252).

²¹ *Оленина А. А.* Дневник. Воспоминания. СПб., 1999. С. 160.

²² *Жихарев С. П.* Указ. изд. С. 31.

²³ Любовный быт пушкинской эпохи. М., 1994. Т. I. С. 349.

²⁴ *Герцен А. И.* Указ. изд. Т. V. С. 172–173.

²⁵ *Пуцин И. И.* Записки о Пушкине. Письма. М., 1989. С. 283.

²⁶ *Жихарев С. П.* Указ. изд. С. 90.

²⁷ *Архиепископ Иоанн Сан-Францисский.* Избранное. Петрозаводск: «Святой остров» (Фонд культуры Карелии), 1992. С. 34. В рассматриваемом контексте весьма актуальным представляется жизненное наблюдение С. М. Волконского: «Мне всегда казалось, что было бы интересно составить из разных авторов сборник того, что я бы назвал “гениальные подробности”...» (*Волконский С. М.* Мои воспоминания: В 2 т. М., 1992. Т. I. С. 214).

²⁸ «Нейтральный» поведенческий аспект (с необходимой поправкой на экстремальный фон революционной ситуации) отразился в воспоминаниях вел. кн. Александра Михайловича. Арест семьи и нависшая вероятность расстрела побуждают мемуариста к привычному «спасительному» бытовому действию: «Жаль, — заметила моя жена: — что они захватили Библию мамы. Я бы наугад открыла ее, как это мы делали в детстве, и прочла, что готовит нам судьба. Я направился в библиотеку и принес карманное издание Священного Писания, которого летом не заметили делавшие у нас обыск товарищи. Она открыла ее, а я зажег спичку. Это был 28 стих книги Откровения Святого: “И дам ему звезду утреннюю”. — Вот видишь, — сказала жена, — все будет благополучно...». *Романов А. М.* Книга воспоминаний. М., 1991. С. 246.

²⁹ Аракчеев: свидетельства современников. М., 2000. С. 334–337.